

> МАГИСТРАЛЪ >

ЭРНСТ ТЕОДОР
АМАДЕЙ ГОФМАН

Эликсиры дьявола

Бумаги, найденные после смерти
брата Медардуса, капуцина.

Выпущено в свет автором «Фантазий в манере Калло»



Москва
2023

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44
Г74

Ernst Theodor Amadeus Hoffmann
DIE ELIXIERE DES TEUFELS

Перевод с немецкого и комментарии *Владимира Микушевича*
Художественное оформление серии *Натальи Портяной*

Гофман, Эрнст Теодор Амадей.
Г74 Эликсиры дьявола : бумаги найденные после смерти брата Медардуса, капуцина / Эрнст Теодор Амадей Гофман ; [перевод с немецкого и комментарии В. Микушевича]. — Москва : Эксмо, 2023. — 416 с. — (Магистраль. Главный тренд).

ISBN 978-5-04-187758-3

В данном издании представлен роман «Эликсиры сатаны», посвященный любимой Гофмана теме разрушительного действия темной половины человеческой личности. Причем вторжение зла в душу человека обуславливается как наследственными причинами, так и действием внешних, демонических сверхъестественных сил. Главное действующее лицо монах Медардус, случайно отведав таинственной жидкости из хрустального флакона, становится невольным носителем зла. Повествование, вращающееся от его лица, позволяет последовать по монастырским переходам и кельям, а затем по пестрому миру и испытать все, что перенес монах в жизни страшного, наводящего ужас, безумного и смехотворного...

Адресована всем, кого притягивает мир таинственного и необычного.

УДК 821.112.2-31
ББК 84(4Гем)-44

ISBN 978-5-04-187758-3

© Микушевич В., перевод
на русский язык, комментарии, 2023
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Предисловие издателя

Хорошо бы, любезный читатель, увлечь мне тебя туда, под сень сумрачных платанов, где я впервые прочитал таинственную историю брата Медардуса. Ты бы разместился со мною на той же самой каменной скамье, полускрытой пахучим кустарником и многокрасочным пламенем цветов; ты бы, подобно мне, с неподдельным вождением вглядывался в голубые горы: они диковинными виденьями высятся перед нами там, над пространной солнечной долиной, куда ведет аллея. Но ты обернулся бы и узрел бы не далее как шагах в двадцати позади нас, готическое здание, чей портал роскошно изукрашен статуями. Сквозь мрачные ветви платанов взирают на тебя образа святых светлыми, поистине живыми очами; это неувядаемые фрески, преславное убранство широкой стены. Солнце пламенеет багрянцем над горным хребтом, веет вечерний зефир, всюду отрадное оживление. За кустами и за деревьями журчат и лепечут чудные голоса; они как будто нарастают и нарастают, доносясь издали мелодическим рокотом органа. Строгие мужи в свободных складчатых облачениях, возводя горе боголюбивые взоры, безмолвно движутся под сенью сада. Неужто ожившие образа праведников покинули высокие карнизы? Ты овеян вѣщей жутью причудливых сказаний и преданий, запечатлен-

ных там, как будто баснословное творится и происходит пред тобой в непреложной очевидности. Это подготовило бы тебя, и ты читал бы жизнеописание Медардуса, и в невероятнейших его наитиях открылось бы тебе нечто большее, чем безудержное мельтешение лихорадочных грез.

А поскольку ты, любезный читатель, узрел бы уже образа и монашескую обитель, не было бы нужды присовокупить, что мы с тобою в монастыре капуцинов близ Б., а точнее, в прекраснейшем его саду; вот куда завлек я тебя.

В этом-то монастыре я и гостил однажды несколько дней, и достойный настоятель обратил мое внимание на реликвию, сберегаемую в архиве: бумаги усопшего брата Медардуса, и немало усилий потратил я, пока не преодолел щепетильность настоятеля, не склонного допускать меня до них. Собственно говоря, по мнению старца, эти бумаги лучше было бы предать огню. Боюсь я, что и ты, любезный читатель, признаешь правоту настоятеля, когда в твоих руках окажется книга, скомпонованная мною из этих бумаг. Но если ты наберешься смелости неукоснительно сопутствовать брату Медардусу в его блужданиях из монастырской галереи в галерею, из кельи в келью и в миру, пестром — пестрейшем, — вынося вместе с ним все жуткое, ужасное, несуразное и анекдотическое, что было в его жизни, тебя, быть может, очаруют неисчерпаемо переменчивые картины, возникающие в этой камере-обскуре. Не исключено даже, что обманчивая зыбкость начнет вырисовываться в закругленной отчетливости для наблюдательного взора. Ты постигнешь детище темной судьбы, сокровенный росток, образующий мощное растение, чтобы оно буйствовало в безудержном изобилии жиз-

ненных сил, производя тысячи стеблей, пока из *одного* цветка не вызреет плод и не вберет в себя все жизненные соки, убивая сам росток.

Когда я с подобающим усердием прочитал бумаги капуцина Медардуса, а это потребовало немалого прилежания, ибо у покойника был почерк мелкий и неразборчивый, как у истого монаха, я предположил: то, что мы склонны нарекать мечтами и бреднями, позволяет нам постигнуть потаенную нить, которая пронизывает всю нашу жизнь, скрепляя все ее подробности, однако не гибельна ли готовность обрести в таком постижении могущество, дерзновенно разрывающее эту нить, чтобы тягаться с непостижимой властью, помыкающей нами.

Быть может, любезный читатель, и тебя не минует подобный опыт, а у меня имеются весьма существенные основания желать его тебе.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Раздел первый

ГОДЫ ДЕТСТВА. МОНАШЕСТВО

Моя мать всегда умалчивала о том, какова была жизнь моего отца в миру, но, когда моя память бережно перебирает все то, что я сызмальства слышал о нем от нее, я готов предположить, что он преуспел и в науках, и в житейском благоразумии.

Мать повествовала о своей минувшей жизни довольно сбивчиво и бессвязно, так что далеко не сразу начал я уяснять, что благополучие моих родителей, основанное на немалом богатстве, сменилось удручающей, горчайшей бедностью, что мой отец, совращенный самим Сатаной, пал до мерзкого кощунства и смертного греха, однако прошли годы, и его просветила Божья благодать, и он вознамерился искупить содеянное паломничеством ко Святой Липе, в чуждедельную, суровую Пруссию. Направляясь туда, изнуренная странствием, мать моя тем не менее впервые убедилась: ее многолетнее супружество не останется бесплодным, и мой отец, начинавший уже отчаиваться, воспрянул духом вопреки всей своей бедности, так как сбывалось возвещенное ему видением, когда святой Бернард заверил его: с рождением сына ему отпустится грех и будет ниспослано утешение. У Святой Липы, однако, моего отца постиг недуг, и чем менее щадил он себя, при всей своей немощи предаваясь изнурительной епитимье, тем

неодолимее хворь брала над ним верх; он преставился, примиренный с Богом и утешенный, в миг моего рождения. С первыми проблесками сознания брезжут во мне милые образы монастыря и предивной церкви у Святой Липы. Меня убаюкивает дремучий лес, меня овевают ароматами буйные и многокрасочные цветы, колыбель моя. Святыня Благословенной не допускает вблизи себя ничего ядовитого или вредоносного; муха не смеет жужжать, сверчок не смеет стрекотать в священной тишине, где раздаются лишь умильные гимны иереев, чьи золотые кадила окуривают паломников в продолжительном шествии летучими клубами богоугодного ладана. Все еще вижу я посреди церкви ствол Святой Липы в серебряной ризе. На эту липу некогда снизошла чудотворная икона Пречистой Девы, принесенная ангелами с небес. Все еще вокруг меня и надо мной блики и лики; сияющие, красочные образа ангелов и святых на стенах и на церковном куполе. Конечно, чуднодивная обитель представлялась мне по описаниям моей матери, чья пронзительная скорбь сподобилась там благодатного утешения, но я был так проникнут этими описаниями, что мнилось, будто сам я все это узрел и изведал, хотя вряд ли моя память простирается так далеко в былое, ибо моя мать оставила со мною святое место через полтора года. Однако полагаю, будто воочию явился мне однажды наедине в церкви, где не было в тот миг ни богомольцев, ни священнослужителей, строгий образ таинственного мужа, не того ли захожего живописца, который в старину, когда церковь еще только возводили, вдруг наведалься туда и, хотя его речей никто не разумел, своею ухищренной кистью в кратчайший срок предивно и пречудно расписал всю церковь и, завершив едва свое деянье, снова скрылся.

Также вспоминается мне старый паломник в странном одеянии; у него была длинная седая борода, и он часто брал меня на руки, находил в лесу пестрые мхи и камни, чтобы играть со мною, и все-таки очевидно лишь со слов матери он возник во мне как живой. Однажды я увидел у него на руках другого незнакомого младенца, моего ровесника, он был неописуемо прекрасен. Среди травы мы с ним целовались и миловались, и я не пожалел для него всех моих пестрых камешков, а он умел располагать их на земле так, что выходили разные рисунки, но рано или поздно из них все равно образовывался крест. Моя мать сидела рядом на каменной скамье, а старец, стоя позади нее, нежно и строго приглядывался к нашим детским забавам. Тут вышли из кустов некие молодчики; наряд их и вся статья говорили о том, что охота поглазеть и поразвлечься привела их к Святой Липе. Один из них увидел нас и вскричал, рассмеявшись: «Вот это да! Святое Семейство так и просится в мой альбом!»

Он и вправду достал бумагу, карандаш и принялся нас рисовать, однако старый паломник поднял свое чело и произнес разгневанно: «Злосчастный зубоскал! Ты метишь в художники, но ни любовь, ни вера сроду в тебе не пламенели, и не труды, а трупы косные, подобные тебе, — удел твой жалкий; отчаешься и пропадом ты пропадешь в своем убожестве, изгой опустошенный, чужой всему и всем».

Юнцы смущенно и поспешно удалились.

А старый паломник молвил моей матери: «Я пришел сегодня к вам с этим чудо-младенцем, дабы он одарил вашего сына искрою любви, но мы с ним должны вас покинуть, и, чего доброго, не видать вам больше ни его, ни меня. Вашему сыну не отказано во многих драгоцен-

нейших дарованиях, однако его кровь заражена кипучим брожением отчего греха, вопреки коему он способен воспарить, и тогда из него выйдет отважный воин веры. Воспитывайте его для духовного звания!»

Сколько бы мать ни говорила, впечатление, произведенное на нее глаголами паломника, оставалось столь проникновенным и действенным, что слова не могли полностью засвидетельствовать его; так или иначе, она вознамерилась в будущем не препятствовать моим стремлениям и невозмутимо принять жребий, который выпадет мне волею попечительного рока, так как средства не позволяли ей помыслить о том, чтобы я удостоился воспитания, превышающего ее собственные возможности.

Возвращаясь домой, моя мать побывала в монастыре цистерцианок, настоятельница которого происходила из княжеского рода; давняя знакомая моего отца, она обласкала мою мать; туда восходит изведенное мною отчетливо на собственном опыте. Однако все, что могло произойти с тех пор, как явился мне старый паломник (а мне о нем, действительно, напоминает мой собственный опыт пережитого; моя мать лишь повторила мне, что сказали художник и старец), до того момента, как она представила меня настоятельнице, зияет в моей памяти сплошным провалом, от этого времени не осталось ни проблеска. Я как бы опамятовался лишь тогда, когда мать занималась моим костюмом, пытаюсь, насколько это было возможно, приодеть и принарядить меня. Она приобрела в городе новые тесемки, она подстригла мою обросшую голову, она со всяческим усердием приводила меня в порядок, наставляя при этом в благочестии и в благоприличии, дабы я не ударил в грязь лицом у госпожи настоятельницы. Дер-

жась за материнскую руку, я взошел наконец по широким каменным ступеням и оказался в просторном покое, чьи высокие своды и стены были расписаны святыми образами; там узрел я княжну. Она была высока ростом и величественно прекрасна; монашеское облачение еще более возвышало ее, доводя почтение перед ней до трепета. Она взгляделась в меня с важным проницательным вниманием и спросила:

— Это ваш сын?

Голос ее, сама ее внешность — и в особенности все то невиданное, что окружало меня, высокие своды, образа, — все это так потрясло меня, что я в каком-то испуге не мог удержаться от слез. Тогда княжна как будто смягчилась, взор ее потеплел, и она произнесла:

— Что с тобою, малютка? Не я ли тебя напугала? Как зовут вашего сына, любезная?

— Франц, — ответила моя мать.

Тогда княжна вскричала, как бы пронзенная душевной мукой: «Францискус!» Она оторвала меня от пола, чтобы страстно заключить в объятия, но в тот же миг внезапная сильная боль где-то в области шеи исторгла из моих уст громкий крик, так что княжна, ужаснувшись, разжала объятия, и моя мать, совсем уничтоженная моей оплошностью, подхватив меня, не знала, как унести вместе со мною ноги. Однако княжна не отпустила нас. Оказалось, что, когда княжна прижала меня к себе, ее алмазный наперсный крест прямо-таки впился мне в шею, и ссадина покраснела и налилась кровью.

— Бедный Франц, — молвила княжна, — вижу, как тебе больно, но ведь мы с тобой помиримся, правда?

Келейница принесла сахарного печенья и сладкого вина. Робость моя прошла, и не понадобилось долгих упрашиваний для того, чтобы я храбро отдал долж-

ное сладостям, которые красавица княжна, усадив меня к себе на колени, сама клала мне в рот. Достаточно было нескольких капель сладкого напитка, неведомого мне до той поры, чтобы я воспрянул духом и оживился, как то было мне свойственно, по рассказам матери, с младенчества. Я немало позабавил своим смехом и болтовней настоятельницу и келейницу, задержавшуюся в комнате. Поныне диву даюсь, как это угораздило мою мать подвигнуть меня на рассказы о красоте моих родных мест, но я, как будто мне подсказывала высшая сила, умудрился поведать княжне о прекрасной живописи захожего безвестного мастера с такой достоверностью, словно глубочайший дух ее открылся мне. При этом я обнаружил такое проникновение в житийные тонкости возвышенного священного предания, как будто все церковные книги не только знакомы мне, но и досконально мною изучены. Не одна княжна, мать моя сама не сводила с меня изумленных очей, а я, захваченный своими речами, заносился все выше, пока наконец княжна не прервала меня вопросом: «Признайся, мой дорогой, кто тебя всему этому научил?» — и я, ничтоже сумняшеся, признался, что ненаглядный чудный младенец, явленный мне странным паломником, растолковал мне церковные образа, повторив некоторые из них сочетаниями цветных камешков, и не только выявил их смысл, но и пересказал мне многие жития святых.

Послышался звон, возвещающий вечерню. Келейница насыпала сахарного печенья в кулек и вручила его мне, к моему вящему удовольствию. Настоятельница, вставая, обратилась к моей матери с такими словами:

— Я намерена впредь опекать вашего сына, любезная, и надеюсь обеспечить его будущность.

Моя мать была так растрогана, что не могла говорить, она только с горячими слезами целовала руки княжны. Уже в дверях княжна задержала нас, снова приподняла меня, не забыв на этот раз отстранить крест, и чуть не задушила меня в объятьях, плача навзрыд, обжигая мне лоб слезами, воскликнув:

— Францискус! Останься и впредь таким же верующим, таким же хорошим!.. — В глубоком умилении я сам не мог удержаться от слез, не понимая, отчего, собственно, я плачу.

От щедрот настоятельницы вскоре наладилось наше незатейливое житье-бытье, которое мы влачили на маленьком хуторе по соседству с монастырем. Мы больше не нуждались, я приоделся и мог воспользоваться уроками священника, подпевая ему на клиросе, когда он служил в монастырской церкви.

Отрадной грезой облакает меня воспоминание о той ранней счастливой поре! Ах, как недосыгаем прекрасный край, где обитают беспечность и безоблачная резвость простодушного детства, остается моя родина далеко-далеко позади меня, и между нею и мною навеки разверзлась пропасть, устрашающая взгляд. В пурпурном освещенье раннего утра я все яснее различаю дорогие мне лица, я сгораю, воспламенен разлукой, и уже как будто до меня доносятся их сладкозвучные голоса. Ах! — что это за пропасть, если сама любовь не в силах превозмочь ее в своем неудержимом полете? Разве существуют время и пространство для любви! Не витает ли она в помыслах, а где мера помысла? Однако темные тени возникают и сгущаются, тесня меня беспросветным своим натиском, и желанная даль исчезает из виду, а насущное подавляет мои порывы будничными мытарствами, и даже неизреченный пыл, самым сво-

им страданием скрашивающий разлуку, превращается в безнадежную убийственную пытку.

Священник был добрее доброго; к тому же он знал, как совладать с моей непоседливой мыслью, знал, как приноровить свою науку к моей натуре, чтобы я торжествовал, одерживая победу за победой.

Дороже всех на свете мне была моя мать, в княжне же я видел святую, и дни, когда мне разрешалось узреть ее, я причислял к праздникам. Я всегда намеревался толком показать ей, какой стал я теперь ученый, но стоило ей выйти и дружелюбно меня приветить, как от моего красноречия оставалось разве что с трудом выговариваемое слово, лишь бы взирать на нее, лишь бы внимать ей. Зато все, что она говорила, внедрялось в мою душу, и потом целыми днями я втайне ликовал, преображенный, и все воображал ее себе, посещая одни и те же заветные уголки. Как назвать мне то чувство, которое пульсировало во мне, когда, стоя у высокого алтаря, я ритмично раскачивал кадило, а с хоров обрушивались органные лады и, нарастая кипучим каскадом, захватывали меня, так что в божественном гимне я улавливал ее голос, нисходящий ко мне пламенеющим лучом, и все мое существо преисполнялось чаянием Высшего — Святейшего.

Но не было для меня дня торжественнее, чем день, который предвкушал я и которому потом радовался неделями, день, о котором я никогда не мог помыслить без душевного подъема; этим днем был праздник святого Бернарда, а так как орден цистерцианцев посвящен именно ему, в монастыре в этот день многим отпускались грехи, и такое отпущение было поистине праздничным. Уже за день до праздника множество соседей-горожан, чуть ли не вся округа, собирались у мона-

стырской ограды, заполняя просторный луг, усеянный цветами, где веселая суতোлка не прекращалась ни днем ни ночью. Не припоминаю, чтобы ненастье хоть раз омрачило праздник, совпадающий с благоприятным временем года (День святого Бернарда приходится на август). На свете не бывало зрелища красочнее. Там с пением гимнов шествуют богомольные пилигримы, а здесь молодые крестьяне весело льнут к расфранченным девицам; духовные лица молитвенно складывают руки, в благочестивом созерцании наблюдают пролетающие облака; горожане целыми семьями благодушествуют на траве, опустошают тяжелые корзины со съестными припасами и лакомятся вволю. Залихватские рулады, душеспасительные хоралы, пламенные воздыхания кающихся, хохот беззаботности, причитания, прибаутки, возгласы, восклицания, молитвословия разносятся на ветру чудесным, опьяняющим созвучием.

Но как только ударит монастырский колокол, шума как не бывало; куда ни помотришь, всюду сплоченные сонмы коленапоклоненных, и в непререкаемой тишине слышится лишь невнятный говор молящихся. Но не успеет колокол отзвучать, и вот уже снова бушует красочный поток, и снова раздастся гомон веселья, умолкнувшего лишь на минуту.

Сам епископ, имевший кафедру в соседнем городе, в День святого Бернарда посещал монастырскую церковь, дабы совместно с низшим духовенством отслужить торжественную мессу, а епископская капелла, разместившись поодаль от алтаря на особом помосте, увешанном драгоценными гобеленами, услаждала слух песнопениями.

И сегодня дают себя знать чувства, сотрясавшие тогда мою грудь; они не только не умерли, оказывается, они

даже не поблекли и расцветают, когда моя душа оборачивается к прежнему блаженству, столь быстролетному. В ушах моих явственно звучит Gloria, исполнявшаяся тогда многократно, ибо эту композицию предпочитала княжна. Едва Gloria воспевалась епископским голосом, вскипали сильные лады хора: «Gloria in exelsis deo!»¹ — не являлась ли заоблачная Gloria над высоким алтарем? — да, не воспламенялись ли к жизни чудотворные, богописные Херувимы и Серафимы, напрягая взмахами свои крепкие крыла, славословя Бога голосами и неопишным бряцанием струн?

Всего меня облекало вдохновенное наитие молитвенного экстаза, возвращающее сквозь пламень облаков туда, в даль, откуда я происхожу, и в ароматическом лесу звучали нежные ангельские голоса, и чудо-младенец встречал меня, покидая лилейную поросль, чтобы спросить с улыбкой: «Где ты блуждал так долго, Францискус? А я тут набрал много цветов; посмотри, как они хороши, у каждого из них свои краски; и все эти цветы я подарю тебе, если ты больше никогда не покинешь меня и не разлюбишь».

После торжественной мессы монахини праздничной процессией обходили галереи монастыря и церковь; их возглавляла настоятельница в митре и с серебряным пастырским посохом. Взор дивной жены так и светился святостью, благородством, небесным сиянием, что сказывалось и в ее осанке и в поступи. То была сама торжествующая Церковь, не отказывающая благочестивому верующему народу в своем благодатном покрове и в благословении. Когда взор ее невольно нисходил на меня, я бы с восторгом поник перед нею во прах.

¹ «Слава в вышних Богу!» (*лат.*)

После богослужения духовенство и епископская капелла приглашались под широкие обительские своды на трапезу. Некоторые лица, особо приближенные к монастырю, среди них представители городских властей и торговых кругов, также присутствовали за столом, а поскольку я снискал благоволение епископского регента, не брезговавшего моей особой, то среди приглашенных бывал и я. И если сперва все мое существо пламенело праведным богопочитанием, всецело приверженное горнему, то потом охватывало меня житейское веселье, осаждая своими пестрыми сценами. Всякие забавные истории, байки, побасенки сыпались как из рога изобилия, вызывая раскатистый хохот гостей, пока не наступал вечер и гости не отправлялись восвояси на экипажах.

Меня, шестнадцатилетнего, священник признал достойным приступить к теологическим занятиям в семинарии соседнего города, ибо я без всяких колебаний избрал для себя стезю духовного лица, что особенно пришлось по душе моей матери, так как у нее на глазах подтверждались и сбывались таиннознаменательные прорицания Паломника, в известном смысле переключившиеся с необычным обетованием, которого сподобился мой отец, хотя сам я об этом тогда еще не слышал. Мать моя полагала, что мое священничество успокоит душу моего отца, избавив ее от вечного проклятия. Княжна беседовала теперь со мною не в своей келье, а в особом покое, предназначенном для мирских посетителей, но и она укрепляла меня в моих помыслах, высоко их оценивая и заверяя, что будет снабжать меня всеми необходимыми средствами, пока я не удостоюсь духовного звания. Хотя до города было рукой подать, так что монахи могли видеть его башни из своих

келий, а иные досужие горожане предпочитали пешие прогулки вокруг да около монастыря, где местность отличалась хорошими, привлекательными видами, тем не менее разлука с моей милой матерью, с благородной госпожой, моей обожаемой благодетельницей, да и с моим добрым учителем очень меня огорчила. Кто станет спорить, что каждая пядь, отрывающая нас от наших присных, уподобляется величайшему отдалению, заставляя страдать!

В княжне чувствовалось некое странное движение души, и печаль выдавала себя дрожью голоса, на прощание увещевающего меня благословением. Я получил от нее элегантные четки и крохотный молитвенник с блистательными иллюстрациями. Кроме того, она снабдила меня рекомендательным письмом к приору монастыря капуцинов; его мне надлежало, по ее словам, посетить незамедлительно и видеть отныне в нем своего наставника и покровителя.

Право же, нелегко мне назвать местоположение более привлекательное, нежели то, которое занимал подгородный монастырь капуцинов. Казалось, нет ничего краше этого восхитительного сада, откуда виднелись горы, а его протяженные аллеи, ведя от одного пышного насаждения к другому, открывали на каждом шагу новые совершенства и утех.

Где, как не в этом саду, предстал мне приор Леонардус, когда я впервые посетил монастырь, дабы вручить ему рекомендательное письмо настоятельницы!

Благожелательный по натуре, приор обласкал меня от души, прочитав письмо, и расточил столько похвал благородной госпоже, которую знал еще в прошедшие годы в Риме, что я просто не мог устоять перед ним.

Личность приора была, естественно, средоточием всей братии, так что не требовалось особой пронизательности для того, чтобы сразу постигнуть его совершенное единение с монахами в устройстве и протекании обительской жизни: душевный мир и ясность духа, явственно сказывающиеся в самом его внешнем облике, распространялись на всю обитель. Начисто отсутствовали следы той мрачности, того отталкивающего, обособляющего, внутреннего сокрушения, которыми так часто отличаются иноческие черты. Упражнения в благочестии определялись для приора Леонардуса не столько суровостью орденских правил, сколько духовным алканием Царствия Небесного, что преображало тягостную аскезу, призванную искупить первородный грех человечества, и он так искусно возжигал в братии этот осмысленный молитвенный пыл, что на все канонически заповеданное изливались благодность и задушевность, поистине выводящие за пределы земного узилища.

Даже известное сближение с миром допускал приор Леонардус, и никто не мог отрицать, что при соблюдении подобающей меры оно не только не вредно, но, напротив, скорее целительно для монахов. Обильные пожертвования, преподносимые прославленной обители отовсюду, поощряли гостеприимство, допускающее иногда к монастырской трапезе мирских доброжелателей и благодетелей. Тогда посреди трапезной бывал накрыт длинный стол; его возглавлял приор Леонардус, а гости занимали другие почетные места. Братии же, как обычно, предоставлялся узкий стол у стены, и приборы на этом столе отличались монашеской простотой, тогда как гостям кушанья предлагались на чистейшем, отборнейшем фарфоре и стекле. Монастырский келарь,

как никто другой, мастерски ублажал приглашенных, избегая при этом скоромного. О вине заботились сами гости, так что монастырские трапезы действительно способствовали непринужденному задушевному общению духовенства с мирянами, и нельзя сказать, что жизнь тех и других не выигрывала от подобного взаимодействия. Ибо заложники мирской суеты, освобождаясь от нее хотя бы на время и вступая за монастырскую ограду, где жизнь духовенства откровенно перечит их обиходу, не могли не признать под влиянием той или иной искры, западающей в душу, что их путь к благополучию и покою не единственный, и дух, возносящийся над земным прозябанием, быть может, уже здесь открывает человеку стезю, иначе недосягаемую. При этом и монахи не прогадывали; пестрый мир со всем своим кишением и мельтешением из-за монастырской стены подавал им вести, не лишние для их житейской рассудительности и благоразумия, не говоря уже о соображениях и выводах, на которые ничто другое не натолкнуло бы их. Не переоценивая земного сверх его природы, они не могли отказать человеческому образу жизни в необходимых различиях, идущих изнутри, чтобы луч духовного начала не утратил своих преломлений, без которых не останется ни красок, ни сияния.

Приор Леонардус давно и несомненно превосходил окружающих своими духовными и научными познаниями. Помимо того, что в нем видели изошренного теолога, чувствовавшего себя как дома в сложнейших материях и частенько приходившего на помощь профессорам семинарии, которые не считали для себя зазорным прибегнуть к его опыту и осведомленности, он обнаруживал светский лоск, вряд ли свойственный монастырскому затворнику. Его французская и итальянская речь

отличалась изысканной беглостью, а его умудренная гибкость позволяла в прошлом употреблять его для ответственных переговоров. Я узнал его, когда он уже дожил до глубокой старости, но, вопреки сединам, свидетельству лет, в очах его еще вспыхивал юношеский пламень, а на устах его играла безмятежная улыбка, от которой усиливалось общее впечатление внутренней гармонии и невозмутимого лада. Он не только красиво говорил, но и красиво двигался, и даже монашеская ряса, далекая от элегантности, не только не портила его, но, напротив, удивительно подчеркивала его стройное телосложение. Я не встречал в монастыре ни одного монаха, который сам не выбрал бы своей участи, повинуюсь властному внутреннему позыву и, более того, неодолимому духовному влечению, однако даже страдальца, ищущего в монастыре лишь спасительную гавань под угрозой уничтожения, Леонардус незамедлительно обратил бы к покаянию, и он вскоре успокоился бы, примирился бы с жизнью и, пребывая в земном, преодолел бы его тяготы. Такая направленность шла вразрез с традициями монашеского житья, и Леонардус набрался подобного духу в Италии, где обрядность да и вообще весь опыт религиозной жизни светлее и отраднее, чем в католической Германии. Как в церковном зодчестве сохранилось античное наследие, так луч отрадной живительной древности, кажется, проникает в сумрачное лоно христианских таинств и разливается там чудесным светом, в котором, бывало, купались боги и герои.

Я пришелся Леонардусу по сердцу, он преподавал мне итальянский и французский языки, но особенным образом влияли на мой дух многочисленные книги, которыми он ссужал меня, а также его речи. Как только семинарская наука предоставляла мне краткий досуг,

я отправлялся в монастырь капуцинов, и во мне упорно усиливалось неуклонное стремление к постригу. Я признался приору в моем побуждении, но тот, не разубеждая меня, предложил все же повременить хоть бы год-другой и, так сказать, освоиться в миру. Но, хотя у меня не было недостатка в знакомствах — ими я, в основном, был обязан моему учителю музыки, епископскому регенту, — всякое общество меня расстраивало и стесняло, особенно когда присутствовали женщины, и, наверное, это обстоятельство в сочетании с предрасположением к созерцательной жизни заставило меня решительно предпочесть монастырь.

Как-то приор заговорил со мной о мирской жизни, и его слова оказались особенно значительными для меня; он углубился в предметы, слышущие скользкими, но обычная грация и непринужденность оборотов не изменили ему, так что, ничуть не нарушая приличий, он метко и без обиняков попадал в цель. Наконец он взял меня за руку, проникательно посмотрел мне в глаза и осведомился, девственник ли я.

Я почувствовал, что кровь бросилась мне в лицо, когда Леонардус недвусмысленно спросил меня о том, что по природе своей двусмысленно, и передо мной выпрыгнула как живая в своей красочности картина, совсем уже было покинувшая меня.

Я вспомнил сестру регента; звание красавицы вряд ли пошло бы ей, но она была прелестна в расцвете своего девчества. Ее стан очаровывал стройностью и безупречной чистотой линий. Вряд ли можно было представить себе руки, грудь и плечи совершеннее, а кожу нежнее.

В одно прекрасное утро, когда я спешил к регенту, чтобы не пропустить урока, мне попала на глаза его

сестра в несколько вольном утреннем неглиже: грудь ее успела блеснуть мне почти без покрова, хотя тут же притаилась под платком, накинутым второпях, однако мой нескромный взор схватил предостаточно, слова застряли у меня в горле, во мне всколыхнулась буря неизведанных чувств, неудержимая кровь воспламенилась в артериях, и пульсацию нельзя было не слышать. Сведенная судорогой грудь не выдержала бы внутреннего давления, если бы оно не разрешилось тихим вздохом. Между тем девица, как ни в чем не бывало, приблизилась ко мне, коснулась моей руки, и вопрос ее: «Что с вами?» — навлек на меня еще худшие страдания, от которых, к счастью, избавил меня приход регента.

Никогда еще не брал я таких неверных аккордов, никогда еще не допускал в пении таких срывов. Моя набожность заставила меня счесть весь этот случай дьявольским искушением, и я вскоре торжествовал, когда моя суровая аскеза обратила в бегство лукавого противника. Теперь же пронизательность приора вновь накликала сестрицу регента, и передо мной возникли ее соблазнительные прелести; меня жгло ее горячее дыхание, сводило с ума ее прикосновение; проходил миг за мигом, а мой подавленный страх неумолимо усиливался.

Ироническая улыбка Леонардуса повергла меня в трепет. Взгляд его был для меня невыносим, я устался в пол, у меня горели щеки, а приор умерил их жар, ласково потрепав по ним.

— По вас видно, сын мой, вы уловили смысл моих слов, и вы пока еще целомудренны; да отвратит от вас Господь прельщение мира сего; недолго длятся его утехи, да и позволительно предостеречь от проклятия, которое в них заключено, ибо кончаются они неопиваемой гадливостью, неизлечимым бессилием и мараз-

мом, то есть гибелью лучшего, духовного, истинно человеческого.

Я предпочел бы не вспоминать пастырского вопроса и назойливого образа, вызванного этим вопросом, но произошло непоправимое: если я почти перестал конфузиться в обществе той девицы, то теперь я больше прежнего боялся взглянуть на нее, и стоило мне подумать о ней, как на меня нападала лихорадка и некое внутреннее смятение, в котором я угадывал тем большую угрозу, ибо в нем таилось и неведомое, чудное вождление, граничащее со сладострастием, а тут уж и до греха недалеко. Однако достаточно было одного вечера, чтобы разрешилось мое двусмысленное колебание.

Регент имел обыкновение приглашать меня на музыкальные вечера, собирая у себя кое-какое общество. В тот вечер присутствовала, разумеется, его сестра, а с нею и другие особы женского пола, и я совсем не знал, куда девать себя, так как у меня дух захватывало и от нее одной. Ее туалет был ей очень к лицу, и я словно впервые увидел, как она хороша; казалось, незримые, неизбежные узы связывали меня с нею, и я, повинаясь безотчетному стремлению, никак не мог избежать ее близости, старался не пропустить ни одного ее взгляда, ни одного ее слова, прямо-таки льнул к ней и, когда ее платье невзначай задевало меня, млел от затаенного и такого нового упоения. Это не ускользнуло от ее внимания и, казалось, доставило ей удовольствие, а я боялся потерять голову, уступить страстному неистовству и заключить ее в мои ненасытные объятия!

Она засиделась у клавикордов, а когда встала, на стуле осталась одна из ее перчаток. Я так и набросился на эту перчатку и, не помня себя, припал к ней губами. Это происходило на глазах у одной из молодых особ, и она

не преминула присоединиться к сестре регента; девицы начали перешептываться, потом последовали взгляды обеих в мою сторону, далее послышались смешки и, наконец, смех, едва ли лестный для меня. Я был готов сквозь землю провалиться, ледяной ток пронизал меня до глубины моего существа. Не помню, как я прибежал в семинарию — в мою келью. Мной овладело бешенство отчаянья; лежа на полу, я захлебывался жгучими слезами; я клял — я проклинал девушку, себя самого, и мои молитвы перемежались с безумным смехом. Отовсюду звучали вокруг меня голоса; надо мной издевались, меня поносили; я уже готов был выброситься из окна; к счастью, мне помешали железные прутья, и в самом деле я не переживал дотоле ничего ужаснее. Однако утро забрезжило, и спокойствие мало-помалу вернулось ко мне; я больше не колебался в моем решении никогда не видеть ее и отвергнуть все мирское. В моей душе окончательно возобладала склонность к монастырскому затворничеству, и уже никакое искушение не могло совратить меня.

Как только мне позволили урочные занятия, я поспешил в монастырь капуцинов и открылся приору в своей готовности поступить в монастырь послушником, добавив, что мать и княжна уже поставлены мною в известность о моем твердом и нерушимом решении. Леонардуса как будто насторожил мой внезапный пыл; не посягая на сокровенное в моей Душе, он так и эдак пробовал исследовать, почему я вдруг так возжаждал иночества, ибо он, разумеется, подозревал: мною движет нечто чрезвычайное. Тайный стыд оказался сильней меня; у меня не хватило духу признаться, что произошло в действительности; зато я дал волю пламенной экзальтации, обуревавшей меня, и не поспешил

на подробности, связанные с чудесными происшестви-
ями моих детских лет; они ли не обязывали меня при-
нять монашество!

Моя экзальтация не передалась Леонардусу; не вы-
сказывая прямо скептицизма по поводу моих видений,
он как будто не придавал им особенного значения, бо-
лее того, подчеркнул, что моя горячность не только не
свидетельствует в пользу моего призвания, а, напро-
тив, весьма смахивает на иллюзию. Леонардус вообще
предпочитал не распространяться о видениях свящи-
телей и даже об апостольском чудотворстве, и бывали
мгновения, когда я, грешный, подумывал, не тайный
ли он скептик. Мне так хотелось услышать от него что-
нибудь определенное на эту тему, что однажды я отва-
жился затронуть вопрос о злопыхателях, посягающих
на католическую веру; особенно нападал я на тех, чье
высокомерное мальчишество мнит, что отделяется
от сверхчувственного бездарным ругательством «суе-
верие». Леонардус мягко усмехнулся: «Сын мой, злей-
шее суеверие есть безверие», — и перешел на предме-
ты посторонние и безразличные. Лишь впоследствии
дано мне было углубиться в его превосходное осмыс-
ление мистического, представленного нашей религи-
ей, постигнуть, что такое таинственное сочетание на-
шей духовности с Высшей Божественностью, и тогда
я не мог не признать, что Леонардус верно распоря-
жался драгоценнейшими дарами своего существа, при-
берегая их лишь для учеников, сподобившихся выс-
шего.

Из письма моей матери явствовало, что она всегда
предполагала: белому священству я предпочту монаше-
ство. В День святого Медардуса явился ей старый Па-
ломник от Святой Липы, он вел за руку капуцина в ор-

денском облачении, и она узнала меня. Княжне тоже пришлось по душе мое решение. Я имел возможность свидеться с ними обеими перед тем, как произнес монашеский обет, а это не замедлило произойти, ибо мое послушничество было непродолжительным; его срок сократило вдвое мое неподдельное стремление поскорее назваться иноком. Я принял иноческое имя Медардус, подсказанное видением моей матери.

Единение братьев между собой, череда богослужений и весь внутренний распорядок монастырского общежительства — все это оказалось таким, как я представил себе с первого взгляда. Задушевная тихость, чувствующаяся здесь во всем, пролила и в мою душу ту небесную безмятежность, которая блаженной грезой оведала мое младенчество в монастыре Святой Липы. Когда меня торжественно постригали, среди присутствующих я заметил сестру регента; взгляд у нее был грустный, и чуть ли не слезинки поблескивали на глазах, однако соблазн рассеялся, и не дурная ли гордыня, детище пустячного торжества, свела мои уста усмешкой, которая насторожила брата Кирилла, сопутствовавшего мне.

— Что это так развеселило тебя, брат мой? — осведомился Кирилл.

— А разве не весело отбросить мирские мерзости со всей их мишурой, — ответил я, но нельзя отрицать: мой обман не остался безнаказанным; что-то страшное сразу же дало себя знать содроганием.

Но то был последний спазм духовного самомнения, сменившийся вышеописанной душевной тихостью! Когда бы она вечно осеняла меня, но власть Супостата помыкает человеком. Стоит ли вооружаться, стоит ли бодрствовать, если ад все равно настороже и не упустит своего?

Минул пятый год моего монашества, когда приор назначил меня хранителем богатого монастырского мощехранилища, так как брат Кирилл, мой предшественник, заметно одряхлел, ослаб, и отныне его обязанности должен был исполнять я. Среди других реликвий имелись кости Божьих угодников, и щепки от креста Господня, и другие священные предметы, бережно размещенные в чистеньких стеклянных шкапиках, дабы в известные дни народ созерцал их, укрепляясь в богопочитании. Брат Кирилл показывал мне их все по порядку и давал прочесть особые грамоты, заверяющие их подлинность и чудотворные качества. В духовном отношении брат Кирилл лишь немного уступал нашему приору, и я позволил себе высказать недоверие, признаться, одолевавшее меня.

— Полагаешь ли ты, любезный брат Кирилл, — молвил я, — будто все эти предметы воистину обладают всеми качествами, которые им приписывают? Не подсовывает ли коварное своекорыстие первую попавшуюся заваль вместо святых мощей? Есть, к примеру, монастырь, где целиком хранится крест нашего Спасителя, а где только не показывают щепки от него, право же, этих щепок мы и за год не сожгли бы в монастырских печах, как пошутил один из наших, как ни грешно так шутить.

— Что и говорить, — ответил брат Кирилл, — сии предметы не подлежат испытующему исследованию, и, положа руку на сердце, вопреки красноречивейшим удостоверениям, я весьма сомневаюсь в том, что среди наших реликвий преобладают подлинные. Но сдается мне, от этого мало что меняется. Прими к сведению, любезный брат Медардус, что мы с нашим приором об этом думаем, и наша вера по-новому воссияет

тебе. Или, любезный брат Медардус, не превосходно само по себе устремление нашей Церкви выявить присутствие сверхчувственного в чувственном и таинственные узы, сочетающие их, дабы таким путем возбuditельно напомнить нашему организму, укоренившемуся в земном, о его происхождении из горнего духовного лона и о его причастности к Чудо-Сущности, пронизывающей огненным дуновением своих энергий все естество в ясном откровении и овевающей крылами серафимов чаянье высшей жизни, чей росток прозябает в нас? Что такое эта лучина, косточка, ветошка? Считается, что она отколота от Христова креста, извлечена из тела, оторвана от ризы святого угодника; а кто, не впадая в рассудочность, просто верует и притекает к ним всем своим бесхитростным чувством, того осеняет нездешнее вдохновение, благовестив небесного блаженства, лишь предвкушаемого в земной юдоли, и пускай реликвия поддельная, тем действительнее духовное влияние святого в ответ на движение сердца, ею возбужденное, и человеку дарует силу и исцеление через веру Высший Дух, которого человек из глубины души молил об утешении и вспомоществовании. Так высшая духовная сила, возбуждаясь в человеке, преодолевает даже плотские немощи, отсюда и мощное чудотворство, исходящее от этих мошей и засвидетельствованное при большом стечении народа, что во всяком случае достоверно.

Мне тут же вспомнилось, что сам приор высказывался в том же духе, и если до сих пор я видел в реликвиях лишь игрушки религиозности, то теперь они склоняли меня к подлинному благоговению и трепетному почтению. Брат Кирилл очень хорошо заметил, как воздействуют на меня его речи, и продолжал истолковывать предмет за предметом с вящим пылом и одушевлени-

ем, трогательным для внимающего. Наконец он извлек из крепко-накрепко запертой скрыни небольшой поставец и молвил:

— Содержимое этого поставца, любезный брат Медардус, — бесспорно, таинственнейшая и диковиннейшая из всех наших реликвий. С тех пор как я живу в монастыре, никто не брал его в руки, кроме приора и меня; сами наши братья, не говоря уже о мирянах, не ведают о том, что имеется такая реликвия. Признаться, мне самому боязно коснуться этого поставца, в нем как бы заточен злой дух, и доведись ему взорвать заточение, связывающее и обессиливающее его, он будет грозить уроном и безнадежной погибелью каждому, на кого нападет он. Знай, в поставце зараза, исшедшая от самого Лукавого в старину, когда он еще отваживался, не таясь, посягать на человеческую душу.

Наверное, во взгляде моем брат Кирилл прочитал высшую степень удивления и, не дожидаясь моих вопросов или возражений, он продолжал:

— По-моему, любезный брат Медардус, неуместны любые личные суждения там, где наличествует несомненная мистика; воздержусь я и от гипотез, и от всяких... теорий, иногда смущающих мой ум, а предпочту как можно достовернее изложить тебе то, как характеризуют эту реликвию имеющиеся документы. Их ты отыщешь сам в этой скрыне и сам изучишь их. Уверен, что ты досконально изучил житие святого Антония, и нет нужды рассказывать, как он, отвращаясь от земного и обращая всею душою к Божеству, избрал для себя пустынножительство и посвятил свою жизнь беспощаднейшему покаянию и упражнениям в молитвословии. Лукавый не отступался от него, то и дело зримо преграждая ему путь, дабы развлечь его в созерцании

Божественного. Вот и случилось однажды святому Антонию воспринять в вечерних сумерках что-то темное; надвигалось оно на него. Приглядевшись к приближающемуся, пустынножитель диву дался: непрошенный гость был закутан в драную хламиду, а из дырьев срамно вылупливались горлышки бутылок. Это был не кто иной, как сам лукавый, который, этак вырядившись, издевательски осклабился и спросил, не угодно ли глотнуть эликсиров из принесенных бутылочек. Святой Антоний не удостоил гнева такую выходку, так как лукавый, подавленный и обессиленный, больше не осмеливался ввязаться в противоборство, и поверженному ничего другого не оставалось, кроме ядовитых поношений, потому и спросил святой супостата свысока, чего ради приволок он столько бутылок, ведь это же тяжело и неудобно. На это дьявол ответил: «Представь себе, вот мне навстречу попадается человек, он удивляется, как ты, и не может удержаться от вопроса, какое там зелье в бутылках, а сам, глядишь, разлакомится и отхлебнет. У меня эликсиров хватает, а рано или поздно он найдет себе пойло по вкусу, осушит бутылку до дна, захмелеет, и вот уже он мой, он подданный моего царства». Таковы предания, но есть у нас и особый документ, посвященный сему видению святого Антония, а в этом документе повествуется, что история имела продолжение: лукавый удалился, но как бы забыл среди сорного былья несколько бутылок, а святой Антоний поскорее унес их в свою пещеру, где и скрыл их из опасения, как бы в самой пустыне некто заблудший, а то и, чего доброго, его собственный ученик не глотнул ужасного питья, ввергая тем самым свою душу навеки в преисподнюю. И вот однажды, согласно дальнейшему изложению, сам святой Антоний не избежал оплошности, откупорив одну

из бутылок, и оттуда вырвались пары позабористее самого хмеля, а вместе с ними святого окутали мерзкие адские мороки, пытаясь очаровать его прельстительными ужимками, и ему пришлось долго давать им отпор неукоснительным постничеством и молитвенными бдениями. В этом поставце находится одна такая бутылка, так сказать, завещанная святым Антонием, а в бутылке дьявольский эликсир, и едва ли допустимо усомниться в том, что после смерти святого Антония она оказалась среди других его вещей; документы на этот счет достаточно обстоятельны и вполне достоверны. Уж ты поверь мне, любезный брат Медардус, как только я призрагиваюсь не то что к бутылке, а лишь к поставцу, меня берет некая устрашающая оторопь, и мнится мне, слышу я неопикуемый запах, в котором одурь и умопомрачение; его не рассеешь даже благочестивыми ухищрениями, напротив, оно рассеивает обоняющего. Это пагубное наваждение явно проистекает от мощного душевредного источника, даже если не верить в непосредственное вмешательство лукавого, однако упорная молитва целительна и тогда.

Тебе же, дражайший брат Медардус, при твоей юности, способной в живых ярких красках созерцать все, чем тебя прельщает Фантазия, раздражаемая супротивной силой, тебе, отважному, но неискушенному ратоборцу, смелому в битве, но слишком дерзкому, замахивающемуся на невозможное, слишком полагающемуся на свою мощь, тебе мое увещание: никогда не открывай поставец или хотя бы не открывай его, пока ты молод, и, дабы любопытство не ввело тебя во искушение, постарайся, чтобы он не попался тебе на глаза.

Брат Кирилл запер скрыню с таинственным поставцом, и я стал обладателем ключей, причем ключ

от скрыни тоже висел в моей связке. Вся эта история произвела на меня впечатление необычного; меня так и подмывало взглянуть на реликвию, но чем больше разрасталось во мне преступное любопытство, тем упорнее силился я воспрепятствовать его удовлетворению, ибо наказ брата Кирилла не пропал даром. Едва Кирилл простился со мной, я еще раз взглянул на священные предметы, вверенные моему попечению, потом отвязал совращающий ключик и скрыл его среди рукописей на моем пюпитре.

Среди профессоров семинарии один был особенно красноречив; церковь не вмещала народа, когда он проповедовал, его слово захватывало огненным током, и невозможно было не поддаться его зажигательному благочестию. Я сам всем сердцем заслушивался его великолепных, вдохновенных речей, но, пока я восхищался высокоодаренным проповедником, во мне самом шевелилась некая внутренняя сила, мощно побуждающая меня к соперничеству с ним. Я внимал ему, а потом сам проповедовал в моей уединенной клетушке, весь во власти вдохновительного мгновения, пока не пришло умение схватывать собственные идеи, собственные слова и записывать их.

Между тем проповедник из нашей монастырской братии слабел и опускался на глазах; его речь влачилась вяло, как пересыхающая речка, утрачивая звучность; когда он пытался говорить, а не читать вслух, язык без подсказки Мысли и Слова вырождался в невыносимое многословие, а перед заключительным «аминь» большинство слушателей засыпало, как при стуке мельничных колес, и разбудить их мог лишь рокот органа. Приор Леонардус был выдающимся проповедником, однако проповедовать остерегался, полагая, что проповедни-

ческий пыл противопоказан ему в его возрасте, так что заместителя для немощного брата в монастыре не предвиделось. Леонардус уже обсуждал со мною ущерб, наносимый монастырю таким обстоятельством: из церкви начинался отток христолюбцев. Тогда я набрался решимости и признался ему, что уже в семинарии ощутил в себе внутреннее призвание к проповедничеству и даже записал кое-какие мои упражнения в духовном красноречии. Приор пожелал ознакомиться с ними, и они удовлетворили его настолько, что он прямо-таки заставил меня ознаменовать пробной проповедью день ближайшего же святого, уверяя, что провал мне не угрожает, ибо я обладаю от природы качествами проповедника: внушительным обликом, выразительными чертами и хорошо поставленным голосом, неистощимым в модуляциях. Сам Леонардус дал себе труд выработать у меня должную осанку и сообразную жестикуляцию. День святого настал; церковь, как обычно, не пустовала, и я поднялся на кафедру с тайным замиранием сердца.

Сначала я побаивался отступить от рукописи и потом слышал от Леонардуса, что голос мой тремолировал, что, впрочем, лишь оттеняло благочестиво печальные медитации в начале проповеди, и многие слушатели оценили дрожь моего голоса как присущее истинному мастеру искусство трогать сердца. Однако вскоре как бы молния небесного вдохновения осияла мое внутреннее существо, и я оторвался от рукописи, весь повинуюсь внушению минуты. Я чувствовал в моих жилах пульсацию крови, горение и озарение; я слышал под сводами гром собственного голоса; я видел свою вознесенную главу, раскинутые, как в полете, руки, я видел всего себя в молниеносном блеске вдохновения. Огненной точкой сентенции, подытоживающей все восхища-

юще душеспасительное, что я благовествовал, завершилась моя проповедь, и она произвела из ряда вон выходящее, неслыханное впечатление. Проповедь вызвала слезы экстаза — неудержимые восклицания упоенной набожности — громогласный хор молитвословий. Братия была готова носить меня на руках. Заклучая меня в объятия, сам Леонардус признал, что монастырь может мною гордиться.

Молва обо мне не заставила себя ждать; городское общество, кичившееся изысканностью и образованностью, теснилось в монастырской церкви, и там негде было яблоку упасть примерно за час до того, как звонили к проповеди. Чем больше мной восхищались, тем больше усердствовал я, заботясь о том, чтобы мои проповеди при всем своем пыле блистали отточенной элегантностью. Я все более искусно очаровывал моих почитателей, и обожание, неумеренно проявлявшееся всюду, где бы я ни останавливался или ни проходил, напоминало уже обожествление. Город словно страдал религиозным помешательством; все рвались в монастырь, не чураясь никаких поводов, даже в будние дни, с единственной целью: лицезреть брата Медардуса и говорить с ним.

Тогда во мне и проклюнулась мысль о моем особом предназначении свыше; многое свидетельствовало об этом: и самая таинственность моего рождения в святом месте, и знаменательное предначертание, согласно которому мне предстояло искупить отчий грех, и чудесные залого, полученные мною во младенчестве, — все это заверяло меня в том, что мой дух, причастный горнему, уже теперь превышает всего земного, и я чужой не только миру, но и роду человеческому, которому, однако, приношу целительное утешение, ради одного

этого ступая по грешной земле. Я уже не сомневался в том, что старый Паломник у Святой Липы был святым Иосифом, а дивный младенец — Иисусом, отметившим во мне святого перед моим земным странствием. И по мере того как моя душа вживалась в эти помыслы, окружающее начинало претить мне и угнетать меня. Из моей души исчез мир и рассеялась духовная безмятежность, которыми я наслаждался в монастыре; благодушные братьев и дружелюбие приора лишь озлобляли меня. Как же это они не видели во мне святителя, который настолько выше их, что им впору пасть к моим стопам, взыскав моего посредничества между престолом Божиим и грешной их природой! А поскольку они относились ко мне по-прежнему, я усматривал в их поведении пагубную законселость. Уже некоторыми хитросплетениями моих проповедей наводил я верующих на мысль, будто в лучах пламенеющей утренней зари наступает новый век и уже шествует по земле угодник Божий, даруя верующей пастве спасительное утешение. Свое мнимое призвание я раскрашивал мистическими узорами, и толпа тем более покорялась мне, замороженная чужеродной прелестью, чем темнее и загадочней были иносказания. Леонардус явно охладевал ко мне, избегая беседы наедине, но случилось так, что братья отстали от нас, когда мы шли по одной из аллей монастырского сада, и приора взорвало:

— Не могу умолчать, любезный брат Медардус, о том, что ты, по-моему, переменился к худшему. Нечто закралось в твою душу, и набожная бесхитростность уже не по тебе. Твои словеса омрачаются враждебным наваждением, в котором пока еще скрывается то, что сделало бы мое общение с тобой во всяком случае невозможным. Давай объяснимся, не взыщи! В этот миг

тебя особенно тяготит вина нашего грешного рода, а эта вина при каждом воспарении нашей духовной силы манит нас в западню погибели, и мы в неразумии нашего полета устремляемся именно туда. Успех, да что успех! — кумирслужение, которым окружил тебя лекоумный мир, лакомый до новинок, притупило остроту твоего зрения, и ты уже принимаешь за самого себя личину, которая вовсе не твое лицо, а призрак, лазутчик бездны, тебе предназначенной. Опамятуйся, Медардус! Прогони этот морок, он тебя дурачит, — он как будто и мне знаком! — уже сейчас тебя покинул душевный мир, а без него какое же здесь благо! Внемли моему предупреждению, за тобой охотится враг, так не попадайся же ему! Разве я не любил тебя всей душой, когда ты был просто добрым юношей?

Говоря так, приор прослезился; он стиснул было мою руку, но пальцы его тотчас разжались, и он оставил меня, как будто пренебрег моим ответом.

Однако его слова лишь задели меня, насторожив, а не растрогав; он же не сказал, что успех и восторженное обожание, которыми я обязан моим исключительным дарованиям, не заслужены мною, значит, он мной недоволен лишь потому, что его мучает зависть, признак ничтожества, да он этого и не скрывает! С того часа я окончательно ушел в себя, помалкивал при встречах с другими монахами, злобствуя в душе, и, преисполненный новым существом, возникающим во мне, целыми днями, не смыкая глаз даже ночью, измышлял словесную роскошь, в которую намеревался облечь мое очередное создание, дабы явить его народу во всей красе. И по мере того как разверзалась пропасть между мною и Леонардусом с братией, я все ловчее залучал толпу в свои тенета.

В День святого Антония в церкви была такая давка, что двери были открыты во всю ширь, и народу была предоставлена возможность слушать меня не только на паперти, но и во дворе. Никогда еще моя проповедь не отличалась такой огненной, впечатляющей мощью. Следуя традиции, я вкратце пересказал житие святого, не упустив при этом случаев показать свою праведность и житейскую мудрость. Тема дьявольских происков, особенно опасных для человека после грехопадения, захватила меня, и поток моего красноречия нежданно-негаданно подбросил мне легенду об эликсирах, которую я пытался представить изощренной аллегорией. Между тем взгляд мой блуждал по церкви, и внезапно мое внимание привлек долговязый, сухопарый человек; поднявшись на скамью, он опирался на колонну в косвенном направлении от меня. Одет он был не поздешнему, кутался в темно-фиолетовую хламиду, под которой прятал скрещенные руки. Его лицо поражало мертвенной бледностью, а грудь мою обожгло лезвие кинжала: то был взор его огромных, черных, неподвижных глаз. Я содрогнулся от непостижимого, отвратного страха, поскорее отвел глаза и, усиленно сосредоточиваясь, попытался продолжить мою мысль. Но как бы инородное насильственное волшебство притягивало мой взгляд к незнакомцу, стоявшему все там же, в безжизненном оцепенении, и его вампирственный взор не отпускал меня. Ядовитое презрение, издевательская ненависть угадывались в морщинах лба и в кривящихся устах. В его облике было нечто ужасное — гибельное! Да, это был безвестный художник, виденный мною у Святой Липы. Меня как бы душили ледяные пальцы; страх подернул мой лоб своими испарениями, периоды моей проповеди прерывались, слова запутывались

все безнадежнее; в церкви послышался шепот, потом гулкий говор; но в безжизненном оцепенении опирался страшный пришелец на колонну, не сводя с меня недвижимого взора. Тогда на меня напал адский ужас, и, как бесноватый, завопил я в отчаянье: «Эй, ты, нечистый, сгинь! — сгинь! я же сам... я же святой Антоний!»

Эти слова повергли меня в обморок, а когда я опаматовался, у моей постели сидел брат Кирилл; он меня пользовал и успокаивал. Ужасный посетитель все еще торчал передо мной, и, когда я поделился пережитым с братом Кириллом, я тем более пожалел о своей выходке на кафедре и тем более устыдился, чем настоятельнее уверял меня брат Кирилл в иллюзорности преследующего меня образа, вызванного, по его мнению, моей распаленной фантазией, а это немудрено, когда проповедуешь так страстно и пламенно. По моим сведениям, слушатели подумали, будто меня врасплох застало умопомрачение, и мой последний выкрик давал вполне достаточный повод для подобных выводов. Я был разбит — мой дух пришел в полное расстройство; я заперся в моей келье, наложив на себя суровейшую епитимью, укрепляясь жаркой молитвой в борьбе с искусителем, которого не остановило даже святое место, где он смутил меня, с наглой издевкой присвоив себе черты набожного живописца от Святой Липы.

Кстати сказать, никто не заметил никакой фиолетовой хламиды, а приор Леонардус со своим неизменным доброжелательством неумоимо распространял повсюду слух, будто со мной приключился приступ горячки, свалившей меня с ног во время проповеди, отсюда и мои бессвязные слова; и вправду, я был еще слаб и болен, когда вернулся к привычному монастырскому распорядку. Тем не менее я взошел было на кафедру, но не

мог преодолеть изнурительной внутренней боязни, да и ужасный, бледный призрак меня преследовал, так что я едва связывал слова, какое уж тут пламенное красноречие! Мои проповеди потускнели... они стыли... рассыпались. От моих прежних почитателей не укрылась моя несостоятельность, и число их неумолимо таяло; теперь прежний проповедник явно превосходил меня; старичок опять выполнял кое-как свои обязанности за неимением лучшего проповедника.

Через некоторое время случилось так, что молодой граф, путешествующий в сопровождении своего управляющего, наведаясь в монастырь, имея цель ознакомиться с нашим богатым реликварием. Выполняя свои обязанности, я отпер дверь и впустил туда путешественников, а поскольку приор, показывавший им наш храм и его хоры, вынужден был покинуть нас, я оказался с ними наедине. Я доставал один предмет за другим с подобающими комментариями, и тут граф обратил внимание на резную скрыню старинной немецкой работы, а в скрыне-то и был поставец с дьявольским эликсиром. Хотя я предпочел бы придержать язык и умолчать о содержимом поставца, оба, и граф, и его управляющий, так настаивали, что я в конце концов поведал им легенду о святом Антонии и коварном дьяволе и описал, точно следуя словам брата Кирилла, сию своеобразную реликвию, пресловутую бутылку, не преминув присовокупить: поставца лучше не открывать, а бутылки лучше не видеть. Граф исповедовал нашу религию, однако он, как и его управляющий, не очень считался со священным преданием. Оба они подняли на смех курьезного дьявола в драной хламиде, из которой выливаются совращающие сосуды, потом управляющий сказал с напускной серьезностью:

— Не обижайтесь на светских вертопрахов, господин монах! Не вздумайте подозревать нас в неверии, мы оба, граф и я, благоговеем перед святыми угодниками, видя в них людей, вдохновленных верой, отрекавшихся от житейских благ и от самой жизни, лишь бы спасти свою душу и человечество; что же касается вашего повествования и подобных ему преданий, то я полагаю, что святой измыслил изощренную аллегорию, которой не поняли и включили ее в жизнеописание как подлинное событие.

Говоря так, управляющий поспешил отодвинуть дверцу поставца, чтобы извлечь черную бутылку причудливой формы. Брат Кирилл не ввел меня в заблуждение: от бутылки действительно шел крепкий дух, однако дух этот отнюдь не цепенил, а, напротив, живительно и сладостно возбуждал чувства.

— Вот это да! — вскричал граф. — Держу пари, эликсир дьявола — не что иное, как доброе, восхитительное сиракузское вино.

— Так оно и есть, — ответил управляющий, — и если сию бутылочку и впрямь завещал святой Антоний, вам, господин монах, мог бы позавидовать и сам король Неаполитанский, которого обездолило римское нечестие; ведь римляне не прибегали к пробкам, а полагали, что вино целее, подернутое маслом, так что королю не довелось хлебнуть древнеримского винца. Конечно, это вино моложе римского, но и оно старейшее из нам известных, и вам следовало бы употребить его себе на благо, то есть прикладываться к бутылочке, не говоря худого слова.

— Разумеется, — вставил граф, — ваша кровушка зыграла бы в жилах, восприняв этот сок старейшей сиракузской лозы, и прогнала бы хворь, от которой, страдаете мне, вы страдаете, господин монах.

В кармане управляющего тут же нашелся стальной штопор, которым тот вооружился и открыл бутылку, невзирая на все мои отчаянные заклинания. Когда пробка выскакивала, мне привиделся синий огонек, исчезнувший, впрочем, тотчас же. Винный дух усилился, распространяясь по реликварию. Управляющий пригубил первым и, упоенный, возгласил:

— Доброе — доброе сиракузское! Что и говорить, святой Антоний мог бы похвастаться своим винным погребом, и если дьявол служил у святого Антония виночерпием, он вредил святому меньше, чем принято считать. Вы только попробуйте, граф!

Граф не отказался и засвидетельствовал правоту управляющего. Оба они продолжали зубоскалить по поводу этой реликвии, утверждая, что другие экспонаты не идут с ней ни в какое сравнение, не худо бы наполнить себе погреб такими реликвиями и так далее. Я слушал эту болтовню, не говоря ни слова, уставившись в пол; мне, омраченному горестью, причиняли боль чужие шутки; напрасно гости соблазняли меня вином святого Антония, я остался непоколебим в своей стойкости и запер бутылку в скрыне, предварительно закупорив ее.

Гости отбыли, однако, сидя в моей уединенной келье, я не мог отрицать: внутри меня что-то наладилось, дух мой ожил и превозмог помрачение. Очевидно, один только винный дух уврачевал меня. Я не замечал ничего похожего на дурные последствия, предреченные Кириллом, напротив, мое состояние заметно улучшалось, и, по мере того как осмысливал я легенду о святом Антонии, слова управляющего находили в моей душе созвучный отклик и сам я приходил к выводу: управляющий, вот кто верно истолковывает легенду, — и вдруг

меня молнией поразила мысль: в тот роковой день, когда враждебное наваждение так жестоко нарушило строй моих умозаключений, не сам ли я намеревался истолковать легенду подобным образом, то есть как изощренную наставительную аллегория, измышление вещей святости? А эта мысль повлекла за собой другую, овладевшую мной до такой степени, что прочие помыслы растворились в ней. Что, если, думалось мне, этот чудный напиток подпитает внутреннее твое существо, вновь затеплит бывший светоч, и новая жизнь воспламенит его? Не обнаружилась ли уже сокровенная предрасположенность твоей души к приятию естественной мощи, таящейся в вине, и тот же самый дух, подавивший немощного Кирилла, не восстановит ли твои жизненные силы?

Сколько раз я был готов поступить, как советовал приезжий, но едва я начинал выполнять его совет, некое противодействие отвращало меня от моей цели. Вот-вот, бывало, я отопру скрыню, а в резных узорах как бы проступают зловещие черты живописца, так и сверлит меня его безжизненно острый взгляд, и, потрясенный сверхъестественной жутью, уносил я ноги из реликвария, чтобы на святом месте оплакать неудавшееся посягательство. Тем неотступнее преследовала меня мысль, будто вкушение чарующего вина утолит мою духовную жажду и вернет мне силы.

Поистине нестерпимой была для меня снисходительность приора — да и монахов тоже, щадивших во мне умственно поврежденного, и когда поблажки Леонардуса зашли так далеко, что он перестал требовать от меня присутствия на урочных богослужениях впредь до улучшения моего здоровья, я вознамерился в бессонную ночь, исстрадавшись до глубины души, поставить

на карту всё и подняться на прежнюю духовную высоту или кануть в небытие.

Я встал с постели, зажег светильник от лампадки, горевшей в монастырской галерее перед иконой Девы Марии, и бесшумно, как выходец с того света, пробрался через церковь в мощехранилище. При тусклом мерцании светильника святые на стенах церкви как бы двигались, устремив на меня сострадательные взоры, а на хорах, где стекла не везде были вставлены, в завывании бури как бы слышались жалобные предостерегающие голоса, казалось, мать обращается ко мне из дальней дали: «Медардус, на что ты посягаешь, сынок, не губи себя!» Но я проник в мощехранилище, и там не было слышно ни звука, и ничто не шевелилось, и я отомкнул скриню, так и вцепившись в поставец, достал бутылку и глотнул всласть!

Пламень хлынул в мои жилы, упоив меня чувством неопишуемого благополучия, — я отхлебнул еще, и восторг новой царственной жизни взвился во мне! Поскорее запер я скриню, куда сунул пустой поставец, поспешил с вожделенной бутылкой к себе в келью и спрятал ее под пюпитр.

Тут я поймал падающий ключик; я его отвязал когда-то, боясь искушения; как же я обошелся без него, отпирая скриню для посетителей, да и только что для себя? Я обследовал связку ключей, — и на поди! — в связке нашелся другой непредусмотренный ключик, он-то и сослужил мне службу дважды, а мне и невдомек.

Как тут было не содрогнуться, однако дух мой, словно выкарабкавшись из бездны, развлекся красочным мельтешением причудливых образов. Всю ночь напролет не смыкал я глаз, пока не настало безоблачное утро и я не поспешил в монастырский сад, чтобы купаться

в лучах солнца, знойным пламенем пылающего за горой. Леонардус и вся братия не упустили из виду, как я переменялся; моей вчерашней бессловесной, замкнутой угрюмости как не бывало; неомраченная жизнь вновь заиграла во мне. Как мне прежде было свойственно, я говорил и говорил пламенно, искусно, словно вещал с амвона. Оставшись со мною с глазу на глаз, Леонардус долго изучал меня, будто пытался заглянуть мне в душу, потом на лице его появилась неуловимая ироническая улыбка, и он сказал:

— Не сподобился ли брат Медардус некоего видения, вернувшего его к жизни притоком свежих сил?

Я почувствовал, что вспыхнул со стыда, ибо вся моя экзальтация, вызванная глотком старого вина, поразила меня в этот миг своей ничтожностью и убожеством. Я весь поник перед Леонардусом, а тот удалился, не вмешиваясь в мои раздумия. У меня было предостаточно оснований остерегаться похмелья: выпитое вино воодушевило меня, но воодушевление могло быстро миновать, сменившись, к моему сокрушению, худшим упадком, но опасения были напрасны; я скорее чувствовал, что ко мне вместе с жизненными силами возвращается юношеский пыл и неутолимое стремление расширить круг моего влияния, а именно этим привлекал меня монастырь. Я не успокоился, пока меня не благословили проповедовать на следующий же праздник. Перед тем как взойти на кафедру, я испил чарующего вина и превзошел самого себя, щеголяя огнем, благолепием и неотразимой мыслью. Вскоре молва разнесла весть о том, что я поправился, и в церкви снова бывало тесно, когда я проповедовал, но чем больше восхищалась мной толпа, тем строже и настороженнее смотрел на меня Леонардус, и во мне пробудилась настоящая

ненависть к нему; он представлялся мне всего только жалким завистником и высокомерным чернецом.

Наступал День святого Бернарда, и я пламенно возжелел возможности явить княжне мой светоч во всемо сиянии, и потому обратился к приору с просьбою, не будет ли мне поручено проповедовать в тот день в монастыре цистерцианок. Кажется, Леонардус не ожидал такой просьбы; он ответил мне без обиняков, что сам имел намерение проповедовать и должные распоряжения уже отданы, однако именно поэтому мою просьбу можно удовлетворить беспрепятственно; сам он извинится, сославшись на нездоровье, а я буду проповедовать вместо него.

Все шло как по писаному! Я повидал мою мать и княжну накануне вечером, но моя душа так сосредоточилась на будущей проповеди в чаянье превзойти самого себя, что я остался довольно холоден. В городе уже слышали, что вместо хворого Леонардуса проповедовать буду я, и в церкви собралось большинство образованной публики. Ничего не записывая, а только построив мысли сообразной чередой, я полагался на высокое вдохновение, которому будут способствовать и праздничное богослужение, и собрание верующего народа, и сама церковь с прекрасными высокими сводами, — и вдохновение не преминуло посетить меня. Огненным потоком лились мои словеса, сочетавшие с поминовением святого Бернарда глубокомысленнейшие притчи, правовернейшие умозаключения; я приковывал к себе взоры, читая в них признание и обожание. Но поистине влекло меня и занимало только мнение княжны; я рассчитывал, по меньшей мере, на взрыв искреннего восхищения: если, будучи ребенком, я поражал ее, каким же невольным почитанием ответит мне она теперь, уга-

дывая мою сокровенную высокую предназначенность! Я попросил ее принять меня. Она заочно ответила, что нездорова, не принимает никого и не может сделать для меня исключения.

Это было тем чувствительнее для моего тщеславия, что в гордом самоослеплении я мнил: должна же она, восхищенная, возжаждать моего душеспасительного елея еще и сверх отпущенного! Мою мать, казалось, удручало тайное горе, и я не позволил себе доискиваться его причин, так как внутреннее чувство возлагало всю вину на меня самого, не подсказывая при этом ничего определенного. Она передала мне письмецо княжны с условием, что я вскрою его только в монастыре; не успел я вернуться в мою келью, как был крайне поражен, прочитав нижеследующее:

«Твоею проповедью, произнесенной в церкви нашего монастыря, ты поверг меня, мой милый сын (ибо ты все еще сын для меня), в глубочайшее смятение. В твоих речах не слышалось души, всецело обращенной к небу, а если у тебя и было вдохновение, оно не возносило верующего на крыльях серафима, чтобы в святом умилении он узрел Царство Небесное. Ах! Горделивая выпренность твоих речений, видимое усилие указать побольше броского, ослепительного убеждают меня в том, что ты обращался не к пастве, смиренно взыскующей наставления и священного огня, а к светской черни в поисках успеха и ничтожного обожания. Я увидела твое притворство; ты красовался чувствами, которых чуждалась твоя душа; ты не брезговал старательно заученными минами и телодвижениями, как суетный лицедей, и все это ради пошлого успеха. Ты проникся духом обмана, и он тебя изведет, если ты не придешь

в себя и не отвергнешь грех. Ибо грех, великий грех — все, что ты делаешь и творишь, и ты тем грешнее, так как ты отрекся от земного невежества, чтобы посвятить себя небу в праведности монастырского затворничества. Святой Бернارد, которому ты сегодня нанес пошлую обиду твоей поддельной проповедью, да простит тебя в своей небесной кротости, и да вразумит он тебя, дабы ты снова распознал праведную стезю, от которой отклонился, подстрекаемый лукавым, и да помолится тогда святой о спасении твоей души! Всякого тебе блага!»

Сотнями молний поразили меня слова настоятельницы, и внутренняя ярость охватила меня; ничто не могло разубедить меня в том, что Леонардус, неоднократно метивший в мои проповеди под подобными же предложениями, воздействовал на приторную набожность княжны, настроив ее против меня и моего искусства. Я едва мог смотреть на него, обуреваемый тайной ненавистью, и порою питал против него такие враждебные помыслы, что сам ужасался. Тем невыносимее были для меня упреки обоих, что в сокровеннейшей глубине моей души подтверждалась их справедливость, но тем непреклоннее коснел я в моей деятельности и, подбадривая себя время от времени капелькой вина из таинственной бутылки, по-прежнему прилежно разукрашивал мои проповеди всеми заемными ухищрениями риторики, усердно заучивая мимику и жестикуляцию; так я завоевывал успех и вымогал признание.

Красочные лучи утреннего света проникали сквозь расписные стекла окон в монастырской церкви; однако погрузившись в свои размышления, сидел я в исповедальне; под гулкими сводами звучали только шаги брата-послушника, подметавшего церковь. Вблизи меня

послышалось шуршанье; я обернулся: ко мне приближалась высокая статная женщина, одетая по иноземной моде, лицо под вуалью; она вошла в боковую дверь и направлялась к исповедальне. Каждое ее движение отличалось изяществом; она преклонила колени с глубоким вздохом, шедшим прямо из сердца; казалось, чары ее опутали меня и одурманили еще до того, как послышался ее голос!

Не знаю, как описать этот неповторимый задушевный звук. Каждое ее слово отдавалось у меня в груди, когда она исповедовалась в запретной любви, которую она уже давно и напрасно силится подавить; любовь особенно грешна, ибо возлюбленный навеки связан святыми узами, но в безумии безнадежного отчаянья она уже прокляла эти узы. Она смолкла было, но потом слова все же прорвались, неудержимые, как слезы:

— Кого же, кого же я люблю так, что не могу высказать, если не тебя, Медардус!

Нервы мои дернулись в убийственной судороге, я не владел собой, я никогда еще не испытывал чувств, подобных тому, которое разрывало мне грудь; видеть ее, душить в объятиях — пусть блаженство и боль задушат меня самого, и пусть вечная адская казнь за одну минуту этого упоения. Она молчала, но я слышал ее томительное дыхание. Я собрался с силами в неистовом отчаянье и совладал с собой; что я тогда говорил, я не могу вспомнить, только помню: она молча поднялась и скрылась, а я зажал себе глаза платком и как в столбняке или в обмороке все еще сидел в исповедальне.

К счастью, в церкви было пусто, и я скрылся в моей келье, никому не попавшись на глаза. Как же все изменилось теперь для меня! Все мои притязания показались мне бесплодным чудачеством.

Лик незнакомки не открылся мне, и все же она вселилась в меня со взглядом своих упоительных темно-голубых очей, жемчужины слез осыпались мне в душу, возжигая ненасытный пламень, которого не могли умерить ни молитвы, ни епитимьи. Что там епитимьи, я охаживал себя до крови узловатой веревкой в ужасе перед вечным проклятием, а оно грозило мне, ибо странная гостья повергла меня в пламень греховнейших вожделений, о которых я и не подозревал прежде, и я не чаял уже избавиться от мучительной казни: этой казнью стала для меня похоть.

В нашей церкви был алтарь святой Розалии и прекрасный образ ее, запечатлевающий мученицу в миг смерти. То была моя возлюбленная, в этом не было сомнений, даже одеяние ее не отличалось от странного туалета таинственной исповедницы. На ступени алтаря я повергался как бы в гибельном бреду и часами лежал там, ужасая монахов отчаянным завыванием, от которого они шарахались в разные стороны, избегая потом встреч со мной.

Неистовство перемежалось мгновениями, когда я носился по монастырскому саду туда-сюда, и она виделась мне в благоуханной дали, она выходила из кустов, она взлетала над водами, парила над цветущими лугами, везде она, ничего и никого, кроме нее!

Сколько раз я проклял мой обет и мою участь!

Я стремился в мир, чтобы не успокоиться, пока не найду ее, чтобы обладать ею, хотя бы променяв на нее спасение моей души.

Наконец я с превеликим трудом отчасти обуздал мое неистовство, озадачивавшее приора и братию; я ухитрился выглядеть уравновешеннее, но беспощадное пламя продолжало внедряться в меня тем неумолимее.

Какой там сон! Какой там покой!

Образ ее не покидал меня, я корчился на моем жестком одре и заклинал святых, нет, не спасти меня от соврашающего морока, одолевавшего меня, не избавить мою душу от вечной гибели, а свести меня с желанной, развязать узы моей клятвы, вернуть мне свободу, а я отпаду и паду во грехе!

Наконец душа моя утвердилась в намерении пресечь мою казнь бегством из монастыря. Мнилось мне, будто пренебречь монашеским обетом — значит уже увидеть желанную в моих объятиях и насытить вожделение, сжигающее меня! Я вообразил, будто никто не узнает меня, стоит мне сбрить бороду и вырядиться на мирской манер, и никто не помешает мне рыскать по городу, пока я ее не добуду, и мне было невдомек, насколько все это мудрено и даже невероятно: без денег продержаться хотя бы день вне монастыря.

Наконец я был готов осуществить мой замысел; мне настолько повезло, что я запасся даже партикулярным платьем, и оставалось только напоследок переночевать в обители, которую я не рассчитывал увидеть когда-нибудь в будущем. Уже свечерело, когда приор неожиданно пригласил меня к себе. Я содрогнулся, так как у меня были все основания опасаться, что он проведал о моем тайном поползновении. Леонардус был со мной строже обычного, и его утонченное благородство невольно потрясло меня.

— Брат Медардус, — начал он, — лично я усматриваю в твоих нелепых выходках лишь крайнее усиление той нездоровой восторженности, которой ты предаешься уже в течение некоторого времени, быть может, намеренно и с неблагоприятными целями, однако этим ты возмущаешь наше мирное общежитие, да и разру-

шительно вредишь безмятежному благодушию, вознаграждающему кроткую праведность, а моя деятельность никогда не была рассчитана ни на какую другую награду. Не исключено, что во всем повинны некие неприятные происки. Тебе следовало бы смело довериться мне, относящемуся к тебе не только дружески, но и отечески, но ты замкнулся в молчании, а я тем более предпочел бы воздержаться от навязчивости, что твое молчание отчасти устраивало меня: твоя откровенность не была бы для меня безболезненной, и мне пришлось бы до известной степени разделить с тобой твое бремя, а мой возраст ничем так не дорожит, как безоблачной ясностью. Преимущественно у алтаря святой Розалии ты изрыгал непристойности, наводящие ужас; ты как бы бредил, но ты преступно вводил во искушение не только братию, но и мирян, случайно заглянувших в церковь; монастырское благочиние обязывало бы меня не давать тебе поблажек, а прибегнуть к строгости, но я так не поступлю, ибо не исключаю, что не только ты виноват в затмении твоего разума, тут замешано недоброе, уж не сам ли нечистый воспользовался твоей уступчивостью; я лишь велю тебе: упорствуй в покаянии и в молитве. Я прозреваю твою душу — тебя влечет свобода!

Мнилось, будто Леонардус действительно видит меня насквозь; его взор пронзил меня, и я, всхлипывая, повергся перед ним во прах, молча уличая сам себя в дурных помыслах.

— Не осуждаю тебя, — продолжал Леонардус, — и допускаю, что для твоей смятенной души мир целесообразнее иноческого уединения, особенно если ты будешь блюсти себя в миру, согласно заповедям и обетам. Кто-нибудь из нашей братии должен направиться

в Рим. Назначаю тебя нашим послом, и уже завтра тебе надлежит отбыть со всеми верительными грамотами и указаниями. Ты как никто другой пригоден для такого поручения; твой возраст, сноровка, деловая сметка и твой итальянский язык — все говорит за тебя. А теперь затворись в твоей келье и дай себе труд от всей души помолиться за ее спасение, моя молитва будет заодно с твоей; только не казни больше своего тела, ты только изнуряешь себя, а тебе предстоит путешествие. Ранним утром посети меня здесь на прощание.

Реченья праведного старца озарили мне душу небесным излучением; я ненавидел его, а тут отрадным страданием пронизала меня любовь к нему, узы, которые я привык считать неразрывными. Я проливал горячие слезы, я прильнул к его рукам. Он обнял меня, и у меня мелькнула мысль, не угадывает ли он мои сокровеннейшие помыслы; не отсюда ли та свобода, в которой не отказывает мне он; дескать, предайся судьбе, помыкающей тобой, упейся, быть может, минутой, а потом пусть хоть вечная погибель.

Итак, надобность в бегстве отпала, ничто не мешало мне выйти из монастыря и беспрепятственно гнаться за ней без усталы, за ней, пока не настигну ее, ибо нет мне без нее ни покоя, ни благополучия. Я даже подозревал, что Леонардус был рад случаю удалить меня из монастыря и вся затея с верительными грамотами не имела другой цели.

Всю ночь напролет я молился и предуготовлялся к путешествию; я нашел флягу для чарующего вина, так как не предполагал уже обойтись без привычного возбудителя, а порожнюю бутылку от эликсира водворил обратно в поставец.

К немалому моему удивлению, я узнал, выслушав обстоятельнейший наказ приора, что мое посольство в Рим было вполне обоснованным; на меня возлагалось, от меня ожидалось и требовалось многое. Сердце мое укоряло меня: едва выйдя из монастыря, я без всяких оправданий намеревался злоупотребить моей свободой; но *она* пришла мне на ум, и я собрался с силами, чтобы непоколебимо осуществлять свои умыслы.

Меня провожала братия, и прощание с ними, не говоря уже о прощании с отцом Леонардусом, оказалось тягостнее, чем я мог ожидать. Но вот за мною захлопнулись ворота монастыря, и, оснащенный для далекого путешествия, я был свободен.

Раздел второй

ПЕРВЫЕ ШАГИ В МИРУ

Подернутый голубой поволокой, внизу в долине вырисовывался монастырь; прохладный утренний ветер веял сквозь воздушные течения, и с ним доносились ко мне высь молитвенные хоралы братьев. Я не мог не петь вместе с ними, это было сильнее меня. Огненно жаркое солнце встало за городом, его искристое золото засверкало среди деревьев, и с веселым шелестом яркие самоцветы росы посыпались на пестрых насекомых, которые взлетали тысячами, жужжа и кружась. Птицы взмывали спросонья; они щебетали восторженно и, милуясь в беспечном упоении, мельтешили в лесу.

Целое шествие деревенских парней и девушек в праздничных нарядах поднималось на гору. «Благословен Господь наш Иисус Христос!» — возгласили они, поравнявшись со мной. «Днесь, присно и во веки веков!» — отозвался я, и как будто новая жизнь, преисполненная отрадной свободы, снизошла на меня тысячами своих блаженных обетований.

Никогда еще я не испытывал ничего подобного; я как бы не узнавал самого себя и, захваченный, воодушевленный пробуждением новых сил, устремился вниз по лесистому склону. Я осведомился у встречного крестьянина, как добраться туда, где мне было предписано на первый раз переночевать, и он в точности об-

рисовал мне тропу, ведущую в гору, в сторону от большака.

Мое одинокое странствие продолжалось достаточно долго, когда мои мысли вдруг снова обратились к Незнакомке и к невероятной затее настигнуть ее. Однако ее внешность была как бы изглажена непостижимым, инородным вмешательством, и я лишь с некоторым усилием представлял себе ее поблекшие, выветрившиеся черты; как я ни силился мысленно удержать мечтание, оно тем безвозвратнее затуманивалось. Мне явственно виделось лишь бесчинное неистовство, которому я предавался в монастыре после того странного происшествия. Я диву давался, как это приор так долго и с такой снисходительностью мирволил мне да еще направил в мир вместо того, чтобы приговорить меня к подобающему покаянию. Я уже больше не сомневался в том, что неведомая посетительница лишь померещилась моему переутомленному воображению, но, если прежде я усмотрел бы в губительно прелестной грезе вечные ковы Лукавого, то теперь я истолковывал ее всего лишь как заблуждение моих собственных мятущихся чувств, что как будто подтверждало само сходство одеяний, едва ли не одинаковых у мнимой пришелицы и у святой Розалии, чей живописный образ я действительно мог созерцать из моей исповедальни хотя бы издалека и в косвенном направлении, однако это, по-видимому, не уменьшило его влияния. Тем глубже трогала меня мудрость приора, сообразившего, как лучше исцелить меня, ибо, заточенный среди монастырских стен, в гнетущем присутствии одних и тех же вещей, непрерывно углубляясь, въедаясь в себя самого, я и вправду впал бы, чего доброго, в безумие, жертва мечтания, еще более красочного, пламенного и дерз-

кого в уединенности. Мне все более нравилась мысль о том, что я только поддался бреду, и я уже чуть ли не смеялся над самим собой в скептическом озорстве, так мало похожем на мою обычную душевную настроенность; я уже издевался в глубине души над обольщением, уверяющим, будто в меня влюблена святая, а сам я не кто иной, как святой Антоний.

Уже не один день брел я горами, а вокруг все еще устрашающе высились обрывистые жуткие утесы, и узкие тропинки еле держались над бешено кипучими лесными ручьями; чем дальше, тем больше настораживал и отпугивал безлюдный путь. Почти достигнув зенита, солнце нещадно пекло мою непокрытую голову, я изнывал от жажды, но родников поблизости не было, да и деревня все не появлялась, а ведь я уже должен был бы туда попасть. Совершенно изнуренный, опустился я на каменную глыбу, сорвавшуюся с горной кручи, и не мог отказать себе в глотке из фляги, хотя и предпочитал не расходовать без крайней нужды таинственное зелье. Новый пыл взыграл в моих жилах, взбодрив и подкрепив меня, так что я ринулся вперед в уверенности, что до искомого уже рукой подать. Однако еловые дебри отнюдь не редели вокруг, в сумрачной глуши тишина нарушалась неким звуком, и вскоре донеслось пронзительное ржание: там была привязана лошадь. Я прошел еще немного, и на меня напала оторопь: прямо передо мной разверзлась отвесная зловещая бездна, куда, окаймленный неприступными зубчатыми отрогами, низвергался лесной ручей, шипя, рокоча и бушующая; к его громоподобному неистовству я и прислушивался вдали. Прямо, прямо над гибельной кручей торчал уступ, на котором сидел молодой офицер в мундире; шляпа с высоким плюмажем, шпага и бумажник лежали подле

него. Он прикорнул над бездной; туловище его свисало в пустоту, и он, как бы сонный, соскальзывал туда на глазах, так что не мог в конце концов туда не рухнуть.

Я рванулся к нему и протянул руку, чтобы воспрепятствовать неминуемому; я громко закричал:

— Сударь! Ради Христа, проснитесь! Ради Христа!

Мое прикосновение, по-видимому, действительно разбудило его; он встрепенулся, стряхивая сон, и в тот же миг сверзился со своего предательского одра; тело его загремело в пропасть, члены его громко дробились, срываясь с одного каменного зубца на другой; отчаянный вопль послышался далеко внизу; он сменился приглушенным всхлипываньем, наконец, и всхлипыванья не стало. Я остался на уступе вне себя от невыносимого ужаса, потом, завладев шляпой, шпагой и бумажником, побежал было стремглав от этого гиблого угла, но тут некий молодчик, одетый по-охотничьи, вышел из-за ели и сперва уставился мне в лицо, а потом так прыснул со смеху, что я содрогнулся в ледяном ознобе.

— Вот это да, милостивый господин граф, — молвил, наконец, молодчик, — вот это маскарад так маскарад, лучше не придумаешь, и если бы милостивая госпожа не была в курсе дела, она, пожалуй, сама дала бы маху и не угадала бы своего милого, право слово. А как от мундира-то вы избавились, милостивый господин?

— Ищи его теперь в пропасти, — буркнуло что-то во мне, ибо вовсе не я ответил этими словами, они сами вылетели из моих уст помимо меня.

Я все еще не мог опомниться и стоял как вкопанный, уставившись в пропасть, не возникнет ли оттуда окровавленный труп графа, обличая меня. Мнилось, не я ли убил его, и некая судорога не позволяла мне выпустить из рук его шпагу, шляпу и бумажник.